

Журналистка Светлана Шелковая бежала к художнику, чтобы записать интервью. Сначала художника будут снимать для газеты, только потом интервьюировать, но Светино присутствие требовалось на всех этапах.

Художника звали Георгий Карпович Шагалов, он был очень известный, занятой и немолодой. Потому-то Шелковая бежала, а не шла, – она опаздывала, до трех часов оставалось всего три минуты. А ей еще нужно было обогнуть серое здание, перепрыгнуть через живописную, как у Саврасова, лужу и найти фотостудию, где она никогда прежде не бывала.

Интервью организовал главный редактор лично, он тридцать раз звонил и уточнял, где сейчас находится корреспондентка Шелковая и почему она до сих пор не явилась к месту назначения (редактор был из отставных военных).

Света опаздывала не по своей вине, но это было неважно – на самом деле, для того чтобы приходить вовремя, достаточно выйти из дому на полчаса раньше, учил ее редактор Николай Тимофеевич.

Всюду опаздывать Света начала недавно, года полтора назад, когда ее дочка пошла в первый класс. У Светы были зимний сын, летняя дочка и такое количество несделанных дел, что можно было бы исписать толстый ежедневник и ни разу не по-

вториться. Раньше, в незапамятные годы, когда время не бежало стремительно, будто ему дали под зад – как это происходит сегодня, – а двигалось медленно, как в плохом сериале, у Светы были еще и дерзкие мечты, но теперь с ними все, покончено. Еще и с мечтами ей не управиться.

Дочка сегодня с утра жаловалась на боль в животе, делала скорбное лицо, как всегда, если ей хотелось остаться дома, а причин для этого не было. Сын, как обычно, ловил момент поймать сестру на вранье, и журналистка Шелковая, разводя вопящих чад по разным углам и пытаюсь одновременно с этим собрать их для присутствия в социуме, в очередной раз спросила себя (и провидение): когда же ей станет хоть немного легче?

Света лихо перемахнула через саврасовскую лужу и уже через минуту, вся в мыле, как мушкетерская лошадь, стояла перед дверью фотостудии, пыталась отдышаться. Где-то среди ветвей дерева, заслонявшего свет старым жителям старого дома, несмело пела о весне маленькая (большие так робко не умеют) птичка.

Дверь распахнулась после первого же звонка, и Свету ослепила роскошная лысина Николая Тимофеевича. Он всегда носил бритый череп, и это шло к его слегка смятому, как дорогой лен, лицу и к глазам, подтверждавшим идею, что в каждом русском человеке есть сколько-то ордынской крови.

Сейчас восточного было не сколько-то, а с лихвой, и будь они наедине, Тимофеич наверняка метнул бы парочку молний. Но за спиной его вырос высокий, длиннорукий, до смешного похожий на героя любимой дочкиной книги старика Петсона художник Шагалов, а потому складки на льяном лице пришлось разгладить, а грозу – отложить. Вместо этого Тимофеич сладостно, как перед начальством, залопотал: – Вот, Георгий Карпович, наша лучшая корреспондентка. Является золотым пером газеты!

Света поморщилась, и Шагалов, она увидела, тоже. «Является» – любимый словесный паразит редактора: то и дело срывается с поводка, дрессировке не поддается, отстрелу не подлежит.

Шагалов без всякой насмешки поклонился Свете. У него были совершенно мальчишеские глаза. Почти такие же у Светиноного сына – огромные, хитрющие, только у сына они фиолетовые, а у художника – ясно-голубые. Это особая, стариковская ясность: отражается в ней куда больше, чем хотелось бы тем, кто в них смотрит.

Вот, кстати, еще одно недовольство миром, которых в последнее время копилось у Светы все больше и больше: люди совсем перестали смотреть друг другу в глаза. Отводят их, будто сделали что-то неприличное. Всем вместе смотреть на нечто отвратительное и уродливое – в порядке вещей, а прямых взглядов теперь боятся, как непристойных предложений.

Шагалов смотрел прямо в глаза и этим еще больше понравился Свете. Конечно, она знала о нем многое, отлично помнила его работы – на некоторых в буквальном смысле слова выросла. Иллюстрации к старинным романам были таинственные, будто художник чудом путешествовал в прошлое и успел узнать о древних текстах то, что никому из потомков не открывалось.

Это были работы, как говорил сам Шагалов, «для занудного рассматривания» – жаль было расставаться с ними на выставке или перелистнув страницу. Подобные чувства вызывает еще Филонов. И Брейгель.

С картинами вообще все очень странно. Света, никакой не специалист, а рядовая журналистка рядовой газеты, точно знала, что ей в искусстве нравится, а что нет, но объяснить, почему одно – никак, а другое – лучше всего на свете, каждый раз получалось с натяжкой. Но если бы работы Шагалова не нравились Свете, он бы и сам ей не понравился: это всегда сходится.

Бывают художники, которые много рассуждают о «себе в искусстве», дарят теоретическую базу любой почеркушке и лично выступают единствен-

ным, а то и лучшим из всех собственным производением. Такие Шелковой тоже встречались (один всегда ходил в шляпе), но Шагалов, она поняла это сразу, из другой «партии».

Редактор сиял лысиной далеко впереди, Света и художник за ним еле успевали. «Вот военщина!» – беззлобно подумала журналистка. Тимофеич если и раздражал ее, так только как родной, предсказуемый человек. Они сильнее других, кстати, раздражают, но разве можно их не прощать?

– Сюда, пожалуйста, присаживайтесь, – журчал Тимофеич, чуть ли не взбивая диванную подушечку, которую он, судя по всему, собрался положить под голову – или под спину? – Шагалову.

Художник морщился все сильнее, хотя морщины, расчертившие лицо согласно возрасту, были не от злобных мыслей, а от смеха. Он был веселый человек, и наверняка умел слушать, и, конечно, был наблюдателен, как и полагается художнику. Непонятно, почему Тимофеич так переволновался, – бывали у них и более важные гости, но выход с подушечкой тянул как минимум на губернатора. «Засиделся в кабинете, бедняга, – решила Света. – Совсем от людей отвык».

Вышел фотограф, точнее – вышла. Высокая тетка с красным то ли от смущения, то ли от жары, которой, впрочем, не было, лицом. Старательно дула на челку, изображая, что ей жарко. Под челкой млеет здоровенный прыщ – мечта косметолога.

– Полиночка! – расплылся Тимофеич и тут же – как по команде – распустил громадный павлиний «хвост».

Света давно привыкла к тому, что этот «хвост» распускается в женском обществе и потом стремительно убирается – ну чисто зонт-автомат. Работал «хвост» только при дамах – редактор блестел глазами, пародировал Брежнева (о котором многие юные дамы имели весьма смутное понятие) и рассказывал анекдоты о блондинках, предварительно убедившись, что блондинок рядом нет. Если же они были, программа менялась, но вообще «хвост» переливался при дамах любой масти. В расчет иногда шли даже мужчины, и никогда – подчиненные. При сотрудниках Тимофеич оставался самим собой: мрачноватым, сухим, жадным на улыбки и премии. Блюл дистанцию до сантиметра.

Полиночка больно царапнула взглядом Свету, они сразу же друг другу не понравились.

– Вы разговаривайте, я пока присмотрюсь, – сказала фотограф.

Света включила диктофон, Шагалов подвинул его ближе к себе. Пальцы у него были темные от вьез-

шихся красок, а пиджак старый, в катышках. Свете вдруг захотелось, чтобы ледяной мартовский ветер, только что гнавший ее по улице, залетел бы в студию и унес бы с собой фотографа и Тимофеича. Не совсем, на время, а она бы пока спросила Шагала о разных важных вещах. Полюбочка и редактор полетали бы тем временем над городом, как на картине Шагала, тоже ведь неплохо!

Но редактор не уходил и не садился. «Хвост мещает», – злобно подумала Света. Все-таки рассердилась на глупого Тимофеича.

– А что если нам чаю выпить? – спросил вдруг художник.

Голос у него был низкий, литой. Не для художника, для оперного баритона. Те, впрочем, в жизни едва шепчут – берегут дарованные голоса.

Полюбочка кивнула и отбыла куда-то в дебри фотостудии, следом за ней, переваливаясь под тяжестью «хвоста», двинулся редактор.

– Ну что, Света?

Шелковая вздрогнула – так похожи были эти слова на те, которых она давно, уже семь месяцев, не слышала. Не только слова, а все сразу – интонация, чувство, даже взгляд. Она закрыла глаза на секунду, чтобы прогнать наваждение (хотя специально его порой вызывала), и ровным голосом задала первый вопрос.

Интервью – работа легче легкого. Если собеседник умен, то это вообще не работа. Ты просто говоришь с человеком о том, что тебе и ему интересно, потом расшифровываешь запись – и готово! Свете доводилось расспрашивать как местных, так и заезжих знаменитостей, и почти каждого она вводила по той дорожке разговора, куда хотелось попасть ей – а не им. Секрет был прост: придумать первый ударный вопрос. Звезды – тоже люди, как ни сложно в это поверить, но взять их можно только неожиданностью, и на это дается всего один шанс.

Но сейчас она почему-то сделала иначе – и сказала те слова, которые говорила на протяжении последнего времени только самой себе. Голос ее был ровный, а слова неправильные – не из тех вопросов, которые она сочиняла ночью, начитавшись про художника в Сети.

– Как жить, если жить не хочется?

Шагалов поднял брови.

– Извините меня, – смутилась Шелковая. – В последнее время я заговариваюсь. Вы только не думайте, что я сумасшедшая...

Она окончательно растерялась, выключила диктофон. Скорое возвращение Полюбочки и Тимофеича висело в воздухе, как предчувствие грозы.

– Света, – сказал Шагало, – мне восемьдесят два года, и я очень хочу жить. Я все время боюсь что-то не успеть. Знаете, вы еще так молоды! В юности нам всем кажется, что у нас много здоровья, сил, удачи, – нам нравится расходовать и то и другое, и в той же категории проходит время. А в старости все повторяется с точностью до наоборот, Света. Вы, главное, живите. Не бросайте это дело!

Он улыбнулся, но выглядел он при этом грустно.

– Знаете, что я сейчас вспомнила? – Света начала заикаться, как бывало у нее только от очень сильного смущения. – Однажды я... я пришла в церковь. Не знаю, чего ждала, – но получилось все очень смешно. Батюшка мне попался молодой и странный – он сам мне начал исповедоваться. Это было так дико! И вот я теперь тоже, вместо того чтобы спрашивать вас про художника Шагала и его творческий путь, говорю о себе. Вы извините меня.

– Не извиняйтесь. Мы с вами запишем интервью в мастерской, если вы не торопитесь. А пока не пришли наши друзья с чаем, расскажете, что случилось?

Света не могла сказать правду – она выходила из нее со слезами, а плакать сейчас – ни за что. Сказала другое, тоже мучительное:

– Понимаете, Георгий Карпович, я страдаю от этого мира. У меня какие-то очень несовременные проблемы, такие стыдно даже психологам рассказывать. Я все еще люблю человека, любить которого было нельзя. «Нельзя» было написано на нем со всех сторон – с головы до пят, разве устоишь? Мы сблизилась и тут же отлетели друг от друга с такой силой, как это делают, наверное, только очень похожие люди. Семь лет уже прошло.

Вот представляете, недавно с улицы, по которой я хожу каждый день в редакцию, сняли асфальт, как кожу. И я так понимаю эту улицу! Я знаю, как ей больно. Мы живем с тем человеком в одном городе, все эти семь тощих лет я знаю, что сейчас он может посмотреть на небо, увидеть те же облака и угадать в них тех же самых чудищ.

Света чуть не задохнулась от сказанного, набрала воздуха. Шагало не успел ответить – вошли редактор с Полюбочкой и чашками на подносе.

– Уже закончили? – строго, но при этом подобострастно (умеет же!) спросил Тимофеич.

– Только начали! – не моргнув глазом, соврал в ответ Шагало, и Света опять вздрогнула – такое было сходство. Не внешнее, нет. Манера произ-

носить слова. Взгляд – слегка исподлобья. Страх обидеть, прежде чем скажешь что-то неосторожное. Отрывистый, как у подростка, смех. И, главное, любовь к жизни – ох, сколько ее здесь было! Никто так не любил жизнь, никто не умел так любить – и жизнь, она ведь тоже баба, ж.р., отвечала любовью на любовь, как в песне. Она любит, когда ее – любят.

Редактор разливал чай, чашки в его огромных ручищах казались кукольной посудой.

Полиночка вскинула фотоаппарат, как ружье, и Шагалов непроизвольно пригнулся. А Света вдруг испугалась, что они больше никогда не увидятся.

Тимофеич прощался с художником так, словно они оба уходили на войну, причем ядерную. Даже сделал попытку обнять старика, а потом, решившись, спросил:

– Георгий Карпович, а вы мне картинку не подарите? У меня супруга – ваша поклонница. Марина Сергеевна. Собирает живопись.

«Так вот в чем дело! – догадалась Шелковая. – Вот к чему были все эти подушечки, объятия и взгляды! Марине Сергеевне захотелось украсить стену Шагальным!»

Жену Тимофеича Света не то чтобы не любила, скорее, слегка презирала и одновременно с этим восхищалась ею, как все трудовые муравьики восхищаются праздными стрекозами. Но редактор, конечно, обнаглел! Картины Шагалова стоили... они дорогого стоили!

– Я подумаю, – сказал Шагалов. – Посмотрю, что можно сделать.

Тимофеич сразу же сдулся, даже лысина его вдруг поблекла и показалась какой-то поношенной, а может, и вовсе – взятой напрокат.

– Мой папа из всех троих «Ш» больше всего любил Шумана, – рассказывала Света художнику, пока они шли в мастерскую – она была рядом, в двух кварталах, – перешагивая через лужи.

– Шопен, Шуман, Шуберт, – кивнул Шагалов. – Я тоже зову их три «Ш».

– Одна знакомая, она учительница музыки, говорит, что Шуман – для страстных.

Свете было так хорошо со старым художником, что она говорила, не задумываясь, все, что приходило в голову, – как бывает только с самыми близкими людьми.

– Мы были с той знакомой в филармонии, прошлой осенью. Знаете, я все думала, куда же делись пожилые интеллигентные люди, а они, оказыва-

ются, никуда не делись – все дружно сидят в филармонии! Это был концерт одного пианиста, он известный – но еще не настолько, чтобы нельзя было купить билет на выступление. Такой странный, немножко вялый – шел к инструменту, как на казнь. А потом начал играть – и как будто свет выключили – осталась только музыка. – А еще, Георгий Карпович, – разошлась Шелковая, – я не понимаю, зачем помнить даты рождения и слова людей, с которыми я уже так давно не вижу. Куда складывать всю эту информацию. Зачем я ее помню?

«Света, ты сошла с ума», – скулил внутренний голос.

– Или вот еще история. Я сидела на скамейке рядом с бомжем. Он был просто Ален Делон. Но при этом бич, вне всякого сомнения. При этом он ничего не просил у меня, а когда я предложила ему денег, гордо отказался – просто француз какой-то! Галантный век! Я ушла, но на прощание погладила его по голове, как ребенка, а он заплакал. Не знаете, почему все люди такие дураки?

Шагалов слушал Свету, давал ей выговориться – так пропускают воду в кране, грязную вначале, чистую в конце.

У самого входа в мастерскую художник вдруг оглянулся по сторонам и сказал:

– Смотрите, какая сегодня красота! Настоящая «весна света», как у Пришвина.

Журналистка сгорбилась, вспомнив, как часто слышала эти слова – о весне света – раньше. Папа всегда ждал первых солнечных дней: неважно, что было холодно, зато появлялось солнце, настоящее, весеннее, а значит, он дожил еще до одной весны. И впереди будет лето – и острый запах грибов, и липкая паутина на стволах корабельных сосен.

– Не вздумайте разуваться, – строго сказал Шагалов. – Я здесь не прибираю годами. Это мой рабочий беспорядок.

Света жадно осматривала мастерскую. Выцветшие афиши. Рисунки, приклеенные к стенам и стоящие на мольбертах. Книжки – сотни книг! Милая, старая мебель.

– Я все-таки включу диктофон, – вздохнула Света. – И вы мне расскажете о своем творческом пути.

Они говорили недолго, минут сорок. Света полагала, что Шагалов, как и все часто расспрашиваемые люди, будет произносить готовые удобные формулы, рассказывать идеально отполированные временем истории. У нее однажды был конфуз – записала ин-

тервью с актером, и тем же вечером увидела его в вечернем телеэфире: шпарил теми же фразами, ничего не меняя. Но художник ее опять удивил – судя по всему, это был полный экспромт, а может, просто ему никто никогда не задавал таких вопросов? Если так, то Шелковая – тоже молодец!

– Света, я вам хочу показать свою новую книгу, – сказал Шагалов на прощание. – У вас есть время? Даже если бы и не было, она все равно кивнула бы – конечно!

Альбом Света листала медленно, это были разные работы разного времени, иногда с вариациями. Пейзажи, изломанные абстракции, перетекающие друг в друга сюжеты, портреты – все с удивленными лицами. Они как будто тоже чувствовали, что Света на них смотрит.

Шагалов молча сидел рядом. Дольше всего Света разглядывала небольшую картинку – вход в старый парк, рядом с которым она прожила несколько счастливых лет. Башенку у входа она помнила до мельчайших деталей. Темные крылья деревьев – будто уставшие птицы сидели на ограде. Дорожка убегала вдаль, как обещание. Невыполненное обещание. По этой дорожке Света прошла много километров – с тем самым человеком, своей постыдной любовью. Она смотрела на деревья, а он – на нее. Света прятала эту любовь от всех – как ущербное дитя, которое не показывают людям. Она по-прежнему жива и уродлива. Ничего не вышло, но ничего и не изменилось.

– Вам понравилась эта картина, значит, я вам ее подарю. – Шагалов улыбнулся, а Света сказала ему: – Знаете, Георгий Карпович, мой папа умер полгода назад. А я все жду, что он вернется, – когда прихожу в дом к родителям, мне кажется, он выйдет и спросит: «Как дела, Светочка?»

Художник не знал, что на это ответить, он беспомощно развел в стороны огромные руки, и Света скорее ушла, чтобы не расплакаться. С картинкой. Марине Сергеевне, наверное, не понравилась бы такое развитие сюжета – но у Марины Сергеевны и без картинки все было хорошо.

Света вошла в кабину лифта – медленного и задумчивого, как еще один старик.

Она так и не сказала Шагалову, что он напомнил ей папу.

Полгода Света спасалась тем, что отслеживала в себе отца – радовалась, когда на ум приходило его словечко, читала его любимые книги, целовала глаза сына – такие же ясные, умные.

Сейчас в Свете начинали жить совсем новые чувства – она еще не знала, что привыкать к ним при-

дется долго, как к неудобной, но необходимой вещи: например, к маске в пору эпидемий. Она все так же будет приходить в кабинет отца, пахнущий книгами, будет класть голову на его неудобную, жесткую подушку и закрывать глаза. Но она снова научится любить жизнь, сколько бы черных птиц ни расправляло перед ней свои крылья. Снова улыбнется идиоту Тимофенчу и похвалит новую прическу его супруги. Снова уедет на юг, к морю, которое похоже на желе, раскорябанное дочкой в тарелке, – и там будут коричневые кузнечики, и голос незнакомого пернатого начнет выводить свою песню, похожую на жалобное «пожалуйста». По-жа-луй-ста. По-жа-луй-ста.

– Папа, что мне делать? – спросила Света, когда уже вышла из мастерской на улицу. Ее услышали весенний воздух и старый пес-боксер с языком наперевес – шелковый, розовый, длинный, как кусок ленты для художественной гимнастики, язык. Небесное интервью продолжалось: – Как жить, если жить не хочется? Любовь – это слабость или сила? За что мне сделали так больно? И когда же ты наконец вернешься, папа мой милый, папа? Я купила тебе все детективы про брата Кадфаэля, которые мы никак не могли найти. Я столько всего должна тебе рассказать, папа! Мне так нужно, чтобы ты был рядом.

Старый пес-боксер принес к ногам Светы свою игрушку – недожеванную резиновую морскую звезду. Поделился самым дорогим.

– Пойдем, Каспер! – окликнула его хозяйка. – Забирай свою звездочку.

Что сказал бы обо всем этом папа?

Видит он ее или нет?

Света оглядела чужой двор, крепче прижала к себе подаренную картину и услышала слова внури себя – тот голос, который утешал ее всю жизнь, от рождения и до последнего года.

Она услышала:

– Весна, Света!

